

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ

СЕРДЦА МАТЕРЕЙ

От автора

Рассказанное в этом очерке случилось в страшном июле 1942 года в душной, пропитанной тревогой, дорожной пылью и зноем русской степи между Осколом и Донсм. Военная катастрофа того лета угадывалась с тех пор, как случилось несчастье с так называемым Изюм-Барвенковским «мешком». Но даже нам, пережившим в 1941 году незалечимую боль отступления от границы до Подмоскovie, масштаб разразившейся катастрофы показался ошеломительным. Под сокрушительными ударами с земли и воздуха расколотся фронт под Харьковом, и живые осколки его покатались к востоку. Через Дой к Нижней Волге и кавказским предгорьям. И вновь, как в 1941 году, обжигая сердце стыдом и болью, молча глядели в глаза отступающим солдатам старики и старики, горестные матери и несмышленные ребята, оставляемые нами на произвол нагло рвущегося вперед врага. В такие дни иногда казалось, что смерть от пули или бомбового осколка менее тяжела для живого человеческого сердца. И нужны были поистине нечеловеческие усилия воли, чтобы оградить от пламени беды ростки надежды, жившей в глубине сердца.

Моя покойная мать, прожившая горькую многотрудную жизнь и часто плакавшая по ночам, говорила, что слеза с сердца боль смывает. Может быть, поэтому и написал я в те трудные месяцы этот очерк. Мой редактор, человек нетрусливый и решительный, посчитал, однако, что не стоит беречь и без того горючую боль солдатского сердца, и вернул мне этот очерк. Так он и остался у меня в записных книжках, как немой свидетель великой боли великого времени, боли, из которой прорастали ростки нашей будущей победы.

Пусть же теперь, через двадцать лет после победоносного завершения войны, с уважением и гордостью прочтут счастливые ровесники коммунизма эти строки, посвященные великому подвигу души наших матерей.

1964 г.

Всевыносящего русского племени
Многострадальная мать.

Н. Некрасов

Это было нынешним летом. Это было в звенящей от зноя степи между Доном и Осколом и по ту сторону Дона — на казачьей земле.

По грейдерам и проселкам грохотали танки. Орудийная канонада обступала со всех сторон. По ночам зарева горящих деревень и городов кровянили небо над степью. Грозные были дни и страшные ночи.

Из тысяч человеческих лиц, промелькнувших перед глазами в эти дни, запомнились мне на всю жизнь лица трех русских матерей.

Над глубокой ложиной, за Валуйками, стоит тихая русская деревенька. (Там сейчас немцы.) Мы въезжаем в нее на исходе дня. Деревня плыла на нас сверху, из синей глубины неба, по широким плесам созревающей ржи и голубым заливам цветущих лугов. В темно-зеленой листве садов сквозили белые стены мазанок, розовеющие под лучами ущербного солнца. Еще три дня назад здесь была тишина. Война спугнула тишину. Она рычит близко, совсем рядом, за лесистыми холмами, в долине степной реки Оскол.

Возятся в пыли белоголовые ребятишки. Мычат коровы. Пастух щелкает длинным пеньковым кнутом. Все как прежде и все не так. Под соломенными навесами крыш стоят обожженные зноем старухи. Поднося к глазам ладони почерневших в труде рук, они тревожно, пристально смотрят на юг и вслушиваются. Они смотрят на проходящих красноармейцев молча и строго. В их глазах застыл немой вопрос:

— Неужели «он» придет?

... В хате, где нам пришлось заночевать, жили две женщины. Старшая — хозяйка хаты — здесь выросла, здесь прожила свою жизнь, кружась по маленькому дворику от хатки к хлеву, от хлева в огород и сад. В каком-то бестолковом оцепенении, она и сейчас снует по двору, спрашивая десятый раз — оставлять ли на ночь буренку в хлеву или лучше привязать в саду под яблоней?

Другая женщина молодая, городская. Когда мы входили во дворик, она стояла у притолки, с недоумением и жалостью наблюдая за своей суетливой золовкой. Женщина держала на руках двухлетнюю девочку. Ребенок протянул ко мне худенькие ручонки и, светло улыбнувшись синими, как полевые васильки, глазами, залепетал:

— Папа... папа...

Мать вздрогнула и спрятала лицо в плечико дочки. Потом, овладев собой, глянула мне в глаза прямым взглядом сухих, глубоких глаз:

— Смешная у меня дочка. Как военного увидит, так и тянется к нему, папой называет. Отец у нее тоже военный был. Совсем маленькую оставил в прошлом году, а вот запомнила...

Я взял девочку на руки. Она доверчиво обняла мою шею слабыми ручонками и, ласкаясь, стала лепетать что-то, понятное только матерям. Тельце ребенка было почти невесомое. Реденькие русые волосики завивались несмелыми кудряшками над висками, исчерченными синими веточками вен. Ножки, пораженные рахитом, были кривы и тонки. Все маленькое тельце льнуло к большому человеческому телу, как льнет к теплой стене хаты плющ, обожженный морозом.

— Она у меня осадница. Прошлую зиму мы с ней в Ленинграде высидели. Не чаяли выжить. Я ее своим телом грела. Спать отвыкла — все боялась, как бы во сне не задушить. Выжила моя сиротка... Да, видно, на горе выжила...

Два «мессершмитта» вырвались из облака и шумно пронеслись над деревенской улицей. Девочка хлопала в ладоши и закричала:

— Птички... птички...

Нам стало холодно от этого детского вскрика, и мы торопливо вошли в хату.

От глиняного пола, густо застланного пахнущими стеблями чебреца и мяты, в хате было прохладно. На «красной» стене висели семейные фотографии. Девочка потянулась к портрету молодого, статного краснофлотца с комсомольским значком на форменке:



А. А. СУРКОВ И К. М. СИМОНОВ В РАЙОНЕ ПРОРВАННОЙ ОБОРОНЫ НЕМЦЕВ
НА РЖЕВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

Фотография В. А. Темина. Калининский фронт, лето 1942 г.

Собрание А. А. Суркова, Москва

— Папа...

Сквозь хмурые дни ленинградской осады, сквозь тревожные бомбежные ночи, на тряском грузовике по тающему, пористому льду Ладоги и в дымной тесноте беженских теплушек пронесла молодая женщина на своей груди эту дорогую фотографию, как светлое воспоминание о недавнем счастье, о том, что был у нее муж, а у дочери отец...

Свечерело. Хозяйка ушла со старухами-соседками ночевать в только что откопанное нами убежище. Маруся осталась с нами в хате. Она улеглась с дочкой в кухонке, на лежанке.

Всю ночь на западе урчала артиллерия и в звездной синеве пролетали самолеты — свои и чужие. Спалось плохо, беспокойно. Товарищи, утомленные дорогой, наконец, уснули, как мертвые. Сквозь их шумное дыхание и храп я уловил тихий шёпот за перегородкой. Приподнялся на локтях, вслушался.

Тревожная мать в ночной бессоннице шептала над разметавшейся во сне девочкой. Полынную горечь своего раннего вдовства, темное беспокойство своего материнского сердца, острую тревогу за будущее выливала она в жарком шёпоте над безмятежно спящим ребенком.

— И зачем мы с тобой сюда приехали?.. Пропадем мы здесь... Папу не покличешь... Не придет он, не оборонит... Сирые мы с тобой... Несчастные...

Где ты теперь, ленинградка Маруся? Может быть, надругался над тобой пьяный немецкий ефрейтор. Может быть, застрелил тебя под яблонями, поруганную, истерзанную... Может быть, разбил об угол русую головку твоей милой дочки...

... Из Валуек к Росоши грейдер идет. Чернозем на грейдере летом был гладкий, укатанный, как городской асфальт. Возле грейдера, чуть вправо, за рощей, деревня есть. Там тоже сейчас немцы. Приехали мы в эту деревню за полночь. Старая хозяйка приняла нас в хату как желанную родню. Поставила кувшин молока. Свежего душистого сена для спанья принесла. Спутники мои быстро утомонились, а я до утра никак не мог уснуть. Думы обступили со всех сторон. Ворочался, в ночь вслушивался. Ночь была обыкновенная, прифронтная, артиллерийская. В окнах дрожали отсветы немецких осветительных ракет, развешиваемых самолетами над грейдером. Вперемежку с орудийными залпами басовито пела «катюша». Фырчали грузовики. Прогромыживали гусеницами танки. Оконные стекла жалобно дребезжали от орудийного грома и взрывов бомб. Товарищи во сне стонали, бредили домом...

Кроме меня, в хате не спал еще один человек. По вздохам, по долетающим обрывкам шёпота чувалось, что на хозяйской половине кто-то мучается, уснуть не может. Перед рассветом я услышал, как зашлепали по полу босые ступни, как скрипнула дверь.

Замученный ночным одиночеством и бессонницей, я поднялся с полу и вышел на крыльцо. В огороде, где на листьях капусты и подсолнуха стыли студеные капли росы, между грядками копошилась наша хозяйка. Она выпальвала сорную траву, но по движениям было видно, что работа не спорится, не тут ее мысли. Через узкую калитку я прошел в огород.

— Ты что, товарищ командир, полуночицаешь? Спать бы тебе надо. Вишь, с лица осунулся. Чай, которую ночь не спишь? Иди, милый, ляг... Говорят, на зорьке сон бывает особенный, сладкий...

— Не выходит у меня, мать... Сердце не на месте... А вы что сами ни свет, ни заря поднялись? Как мне вас по имени-отчеству называть?..

— Зовут меня Марина Васильевна. А правду сказать, так у меня тоже сердце не на месте. Сон не идет. Третью ночь такое. Думы всякие нехорошие в голову лезут. Больно уж «он» близко подошел. А мне и уходить не в пору. Куда я со своими старыми да малыми тронусь... Понял, милый?

Она взглянула на меня своими усталыми, скорбными глазами, и я не прочел в ее взгляде ни упрека, ни раздражения.

— Уж ежели ты бессонный маешься, расскажу кое-что. Может быть, на сердце от разговора полегче станет. Разворошила война нашу жизнь. Деревни наши стали как муравейник разоренный. Все вкривь, да боком пошло. Жили мы, трудились, большой радости ждали, ан глядь — беда пришла.

Подняла я двух сыновей да трех дочек. Девки, известное дело, как замуж вышли — ломоть отрезанный. Своя семья, своя судьба. А сыновья на всю жизнь около материнского сердца стоят. Старший у меня красавец вымахал — как вот этот клен. И умом и статью — всем взял. С тринадцати лет сам хлеб зарабатывать стал. Первый комсомолец был в округе. До редактора районной нашей газеты дошел. В службу пошел — через полгода политруком стал. Перед войной жену с ребятами к себе во Львов выписал. Как война началась, сноха с ребятами обратно приехала голым-гола, что на себе — весь достаток. А Федя канул. Одиннадцать месяцев от него ни чутья, ни вести. Больно мне, товарищ командир. Первый он у меня. Рожая его, я первую боль материнскую приняла и первую радость. Тяжко мне было его в сердце хоронить. Похоронила я его в сво-



**ВОИН КРАСНОЙ АРМИИ!
ОТПЛАТИ ВРАГУ ЗА КРОВЬ
И СЛЕЗЫ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ!**

«ВОИН КРАСНОЙ АРМИИ! ОТПЛАТИ ВРАГУ...»

Плакат Д. А. Шмаринова. «Искусство». М.—Л., 1942

Центральный музей Вооруженных Сил СССР, Москва

Оригинал (гуашь) в Третьяковской галерее

ем материнском сердце и последние слезы по ночам выплакала. Теперь эта боль в глубину сердца пала, на самое дно. От младшего второй месяц вестей нет. Он в Лисках, в депо, в железнодорожной ФЗО учится... Сказывают — «он» депо по кирпичику разбомбил. Я за худое не цепляюсь. Может, почта плохо работает. Может, сынок, по мальчишеству своему, писать поленился... Только тревогу не отгонишь...

Марина Васильевна выпрямилась над грядкой, взяла меня за локоть и повела в хату.

В сенцах, на самодельной кровати, тесно прижавшись друг к другу спали двое малышей — мальчик и девочка. Потеплев взглядом и голосом, Марина Васильевна зашептала мне на ухо:

— Вот из-за чего я ночи не сплю. Это Федины сиротки — внучата мои. Старшенький-то — весь в отца. Я гляжу на него и молодость свою бабью вспоминаю. Забудусь и покажется мне, что не старая я баба хвора, а молодуха голосистая Маринка, первая деревенская песельница и хоро-водница. Тяжко мне было Федю в сердце хоронить, да просвет был. Дума-мала — подниму сирот, выхожу, на ноги поставлю. И дело мне в жизни будет и радость. Думала — пока советская власть стоит, не погибнут ма-лые. Федор мне, как война объявилась, писал — не горюй, если пропаду. Коли мы Советскую власть не обороним, кто ее оборонит? А устоит Совет-ская власть против немцев — не пропадут мои малые. Я Федору, как себе, верила. От его слов легче было горе нести.

Марина Васильевна перевела дух, поправила одеяльце на ребятах.

— А теперь что?.. Не подняться мне с ними. Не уйти. И старик у меня больной. Придет «он» — не будет моим малым жизни, не будет света.

Помолчала. Напружинилась вся. Словно моложе стала.

— Ведь не на все же вы уходите? Ведь вернетесь же?.. Ведь если вы не вернетесь — матери вас проклянут, земля, как пропадете, не при-мет.

Стояла она передо мной в темноте сеней прямая и гневная, телом своим загораживая внучат от невидимого врага. И, показалось, будто Россия в рост поднялась над пепелищами и выжженной землей, гневная, властная. Взял я изъеденную трудовыми мозолями материнскую руку Марины Васильевны и губами к ней прикоснулся. Обмякла ста-рая. Сжала ладонями мои виски, поцеловала в лоб трехкратным поце-луем.

— Беспокойный ты человек. Беспокойным людям нелегко на свете жить. Ну к чему ты мою бабью горечь на сердце принял? Своей что ли мало?..

...В душную летнюю ночь того же злосчастливого июля довелось мне заночевать в маленьком степном городке, который был когда-то казачьей станицей. Поставили меня на ночевку в квартиру жены местного врача Евдокии Николаевны Н. Едва я переступил порог, едва глянул в глаза одинокой, пожилой женщины, заброшенной в пустоту осиротелой квар-тиры, как понял, что сна и в эту ночь не будет.

Так и вышло. Само собой накатило то, что тревожит людей везде: и в Тамбове, и в Казани, и в Ярославле, и под Воронежем, и в далекой от фронта Сибири. Хозяйка потушила свет и распахнула настежь окна. Из садика повеяло ночной прохладой. Студеный ветерок прогнал сон. Бе-седа затянулась до рассвета. Еще одна горькая материнская судьба встала передо мной из темноты душевной задонской ночи.

Несложными словами рассказала Евдокия Николаевна свою сложную судьбу. Жили на свете мирные люди — районный врач с женой. Вырасти-ли сына, вырастили дочку. Муж был коммунист из породы правдолюбов и правдоискателей. Трудно уживался с районным начальством. Так и состарился в вечных «перебросках».

Пришла война и нарушила весь строй жизни. Сына-лейтенанта у самой границы в первых боях убили. Муж с первых дней ушел добровольцем — где-то на юге в эвакогоспитале работает. Дочка, едва кончила десятилетку, медсестрой ушла. Осталась осиротевшей матери только в тысячный раз письма перечитывать да часами на фотографии близких смотреть.

Русским своим сердцем учуяла Евдокия Николаевна, что военная бе-да близко подступила. От этой последней тревоги жизнь не в жизнь стала. Сидит передо мной Евдокия Николаевна на стуле и, невидимая в темноте, требовательным, тревожным голосом спрашивает:

— Это ладно... Это я знаю... У меня муж такой же, как вы... А, все-

таки, скажите, удержат «его»?.. Вы не думайте, что я смерти боюсь. Мне сына терять было страшнее смерти, а не сломилась. Мне судьбу свою в порядок привести перед смертью надо. Мне отсюда не уйти. Сердце у меня плохое. На десятом километре в канаву упаду мертвая. Да и куда, зачем идти? А с «ним» мне не жить. «Он» моего сына убил. «Он» мою семью разметал по ветру. Да вы сами поймите, как мне, русской, с «ним» ужиться? Что же мне остается делать? В Хопер броситься?

В бессонные ночи надумала я одно дело. Если придут они в город, я офицеров на постой приглашу. Домик у нас чистенький, уютный, думаю, что польстятся. Уважительная буду. Ковер под ноги подстелю. Постели свежим бельем накрою. Стол праздничный приготовлю. По бабьему предрассудку я, как война началась, пять литров водки купила и в саду под яблоней закопала. Думала пир устроить, когда мои воины после войны под родной кров придут. Выкопаю я эту водку. На горькой полыни настою. На стол поставлю — кушайте, гости незваные, русское угощенье! Окороком накормлю, огурцами свежими, пирогами русскими. Говорят, они жадные до русской еды и водки. Наедятся до отвала, напьются допьяна — спать уложу. Своими руками с них сапожки да мундирчики немецкие стяну. А как захрапят они, пойду в кладовую — там у меня большой бидон с керосином стоит. Пеньку я третьего дня по углам разложила. Оболью пеньку керосином и — грейтесь, гости непрошенные, у русского огня... А дальше — что будет...

Из редющей перед рассветом темноты глядели на меня два больших серых глаза. И понял я, что если доведется, все сделает Евдокия Николаевна, как задумала. И в смерть пойдет твердо и бестрепетно. Ведь в смерть идти по дороге, протоптанной чужими ногами, — для сердца легче...

* * *

На высоком лесном берегу верхней Волги, перед пылающим, как свеча, русским городом Ржевом, в золотую северную осень вспомнились мне ваши образы, русские солдатские матери — Марина Васильевна и Евдокия Николаевна. Вспомнилась и ты, солдатка Маруся, и маленькая твоя дочка. Рассказал я о вас товарищам бойцам, что в окопах над Волгой стоят. Слушали они и лицом строжали. И видел я, как руки их стискивали холодную сталь автоматов.

Запомнили они твой наказ, Марина Васильевна. Вернемся мы назад и за все отплатим, за все посчитаемся.

Из болотной сырости северного леса кланяемся мы земным поклоном вашей материнской скорби, богатырскому мужеству вашего материнского сердца. Губами своими касаемся мы земли, по которой ступала ваша нога. Слезы ваши материнские жгут сердце, спать не дают...

Действующая армия
Район Ржева
Сентябрь 1942 г.